

Сталин и война. Уроки истории и долг писателя

В преддверии двадцатилетия Победы хочется высказать некоторые, связанные с историей Великой Отечественной войны мысли, родившиеся у меня как у писателя, ряд лет работающего над этой темой.

Сейчас трудно себе представить, что в 1955 году, через 10 лет после окончания войны, у нас по существу еще не было мемуарной литературы о Великой Отечественной войне. И в этом не приходится винить ее участников, ибо только XX съезд партии создал благоприятные условия для создания этой литературы.

Люди, прошедшие войну, часто вспоминают тост, который произнес Сталин в мае 1945 года "за здоровье русского народа".

"У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах... Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии..."

Бесспорно, эти слова содержат и прямое признание ряда ошибок, и справедливую оценку наиболее кризисных моментов 1941-1942 годов. Эти слова содержат и самокритику, поскольку, употребляя слово "правительство", Сталин привык подразумевать под этим себя.

Все это так. Но у всего этого была и своя обратная сторона, что, на мой взгляд, вообще, как правило, надо иметь в виду, оценивая слова и дела Сталина. Сталин своим тостом отнюдь не призывал других людей, в том числе историков, к правдивым и критическим оценкам хода войны. Наоборот, сам, как высший судья, оценив этот этап истории, в том числе и свои отношения с русским народом так, как он их понимал, он как бы ставил точку на самой возможности существования каких бы то ни было критических оценок в дальнейшем. Слова этого тоста как будто призывали людей говорить о прошлом суровую правду, а на деле за этими словами стояло твердое намерение раз и навсегда подвести черту под прошлым, не допуская

его дальнейшего анализа. И не трудно себе представить, какая судьба ждала бы при жизни Сталина человека, который, вооружившись цитатами из этого знаменитого тоста, попробовал бы на конкретном историческом материале развивать слова Сталина о том, что у правительства было немало ошибок, или как свидетель и участник войны проиллюстрировал бы эти слова личными воспоминаниями.

Говоря это, я хочу подчеркнуть, в каком, еще куда более трудном, чем писатели, положении оказались в те годы люди, которые в разных военных должностях вынесли на своих плечах войну и которым было что сказать о ней.

Оценивая нашу сегодняшнюю мемуарную литературу о войне, надо иметь в виду, что у нее были насильственно задержанные роды и она потеряла почти целое, самое драгоценное — если иметь в виду остроту памяти — десятилетие. И если, несмотря ни на что, она все же входит сейчас в пору своего расцвета, надо высоко оценить энтузиазм людей, решивших на примере собственной жизни и военной деятельности рассказать всю героическую и трагическую правду о том труднейшем в истории подвиге партии, армии и народа, который мы с законной гордостью зовем Великой Отечественной войной.

Очень большие задачи в этом смысле стоят сейчас и перед нами, писателями, хотя надо сказать, что литература наша немало сделала в этом направлении уже давно, еще в годы войны и сразу после нее. Я не разделяю по разным поводам возникавших в последние годы запальчивых теорий, объявлявших то одну, то другую из недавно написанных книг о войне то "началом ее подлинной истории", то "первой настоящей правдой о ней".

Конечно, только XX съезд партии открыл возможности для наиболее глубокого изображения истории Великой Отечественной войны. Но стремление в меру своих сил сказать правду о войне всегда владело каждым честным художником. Далеко не все можно было сказать по обстоятельствам времени, далеко не все сами художники считали возможным говорить; в произведениях того времени было немало искренних заблуждений. Все это так, и об этом нет нужды умалчивать. Однако нет нужды и забывать, как много правды о войне содержалось в лучших книгах того времени, в особенности написанных по горячим следам между сорок первым и сорок седьмым годами, в таких произведениях, как "Василий Теркин" и

"Наука ненависти", "Волоколамское шоссе" и "В окопах Сталинграда", "Звезда" и "Спутники", "Народ бессмертен" и "Письма товарищу".

Можно вспомнить и многое другое, я называю здесь примеры и хочу подчеркнуть, что правда о войне, сказанная тогда, когда ее не так-то просто было говорить, имеет в глазах читателей дополнительную нравственную ценность.

В разные времена бывали разные обстоятельства — это верно. Но в одни и те же периоды истории при наличии одинаковых обстоятельств у разных литераторов бывали и разные взгляды на ход исторических событий, и разная мера мужества в их изображении. Нельзя не считаться со временем, в котором были написаны те или иные произведения, но нельзя и все сваливать только на время.

Для примера скажу, что сценарий, а потом фильм "Сталинградская битва" и повесть "В окопах Сталинграда" создавались об одном и том же событии и в одну и ту же эпоху, а в восприятии войны между тем и другим — пропасть!

Разница во взглядах на войну, на литературу о войне, на воспитательные задачи этой литературы существовала не только после войны и во время нее, но и до войны. У этого спора, который в другой исторической обстановке и в других формах продолжается и сейчас, глубокие корни.

Хочу процитировать два документа, относящихся к февралю 1941 года, преддверию войны. В обоих идет речь о готовившемся тогда в издательстве "Молодая гвардия" сборнике "Этих дней не смолкнет слава...". В первом из них говорилось так:

"...Сборник исходит из принципиально неверной установки о том, что "наша страна — страна героев", пропагандирует вредную теорию "легкой победы" и тем самым неправильно ориентирует молодежь, воспитывает ее в духе зазнайства и шапкозакидательства... Из такого утверждения можно сделать только один ошибочный вывод: незачем вести пропагандистскую работу, направленную к воспитанию у молодежи храбрости, мужества и героизма, поскольку каждый человек у нас и так является героем..."

Во втором документе говорится то же самое, только другими словами:

"В материалах много ненужной рисовки и хвалебности. Победа одерживается исключительно легко, просто... все на ура, по старинке. В таком виде воспитывать

нашу молодежь мы не можем. Авторы, видно, не сделали для себя никаких выводов из той перестройки, которая происходит в Красной Армии..."

Первая цитата взята из письма тогдашнего начальника Главного политического управления армии А. Запорожца к А. Жданову, вторая цитата — из письма тогдашнего наркома обороны С. Тимошенко в ЦК комсомола Н. Михайлову.

Литераторам, занимающимся историей войны, стоит задуматься над этими двумя письмами, написанными на ее пороге. О чем, на мой взгляд, говорят эти письма? После тяжкого разгрома военных кадров в 1937-1938 годах и финской войны, наглядно показавшей гибельные для армии результаты этого разгрома, был взят решительный курс на перестройку армии с целью вернуть ей действительную мощь и боеспособность.

Однако в идеологии были еще сильны настроения, порожденные предыдущим периодом, когда в обстановке репрессий 1937-1938 годов заикнуться о силе противника или о нашей недостаточной готовности к большой войне значило совершить политическое самоубийство.

Обстановка уже изменилась к лучшему, но настроения, рожденные 1937-1938 годами, продолжали давать себя знать самым опасным образом и в общественной жизни, и в литературе.

Достаточно назвать как эталон этих настроений хорошо памятный людям моего поколения предвоенный роман "Первый удар", в котором мы, уже не помню то ли за сутки, то ли за двое, расколачивали в пух и прах всю фашистскую Германию. И беда была не в бездарности этого романа, а в том, что он был издан полумиллионным тиражом и твердой рукой поддержан сверху.

Приведенные документы говорят о том, что хотя в нашем обществе перед войной уже начинался поворот в сознании, но инерция 1937-1938 годов была еще очень сильна, и это приводило к резкому столкновению взглядов и на армию, и на будущую войну.

Заговорив об этом, хочу подробнее остановиться на трудной теме 1937-1938 годов, или "ежовщине", как просто и коротко заклеил все это народ, и не задним числом, после смерти Сталина, а сразу, тогда же. Кстати сказать, любителям уклончивых формулировок об "отдельных несправедливостях" и "некоторых нарушениях" не грех бы подумать над этой народной формулировкой того времени.

Когда речь идет об "отдельных" и "некоторых", в народе не рождаются такие слова, как "опричнина" и "ежовщина".

В данном случае я говорю о 1937-1938 годах лишь с точки зрения их прямого влияния на нашу неготовность к войне. К сожалению, люди, от всей души клеймящие позорные события тех лет, порой узко и односторонне трактуют влияние этих событий на дальнейшие судьбы армии. Прочтешь статью, где, в очередной раз перечислив несколько имен погибших в 1937 году военачальников, автор намекает, что, будь они живы, на войне все пошло бы по-другому, и думаешь: неужели автор и в самом деле все сводит лишь к этому?

Однажды, прочитав такие рассуждения, я даже попробовал мысленно представить: предположим, в 1937 году не было бы всего остального, а был бы просто один трагический случай — авария летевшего на маневры самолета, на борту которого находились Тухачевский, Уборевич, Корк и другие жертвы будущего фальсифицированного процесса. Была бы эта трагедия трагической? Конечно. Нанесла бы она ущерб строительству армии? Разумеется. Привела бы она через четыре года — в 1941 году — к далеко идущим последствиям?

Спросил и мысленно ответил себе: нет, не привела бы. Потому что потеря такого рода при всем ее трагизме заставила бы нас по нашей революционной традиции только теснее сплотить ряды, выдвинула бы новых способных людей, выпестованных партией и Красной Армией.

Нет, нельзя сводить все к нескольким славным военным именам того времени. И нельзя рассматривать возможную роль этих людей в будущей войне отторженно от той атмосферы, в какой они погибли и которая еще сильнее сгустилась в результате их гибели с посмертным клеймом изменников родины.

Во-первых, погибли не они одни. Вслед за ними и в связи с их гибелью погибли сотни и тысячи других людей, составлявших значительную часть цвета нашей армии. И не просто погибли, а в сознании большинства людей ушли из жизни с клеймом предательства.

Речь идет не только о потерях, связанных с ушедшими. Надо помнить, что творилось в душах людей, оставшихся служить в армии, о силе нанесенного им духовного удара. Надо помнить, каких невероятных трудов стоило армии — в данном случае я говорю только об армии — начать приходить в себя после этих страшных ударов.

К началу войны этот процесс еще не закончился. Армия оказалась не только в самом трудном периоде незаконченного перевооружения, но и в не менее трудном периоде незаконченного восстановления моральных ценностей и дисциплины.

Не разобравшись в этом вопросе, нельзя до конца разобраться и в причинах многих наших неудачных действий в преддверии и в начале войны. Мне хочется поспорить с нет-нет да и проскальзывающей тенденцией противопоставления кадров, погибших в 1937-1938 годах, кадрам, которым хочешь не хочешь пришлось принять на свои плечи войну.

Некоторым, видимо, кажется, что они отдают должное личности Тухачевского или Якира, намекая, что, командуй они в первый день войны фронтами вместо Кирпоноса или Павлова, все пошло бы по-другому. Такие внешне эффектные противопоставления мне лично кажутся не только легковесными, но и морально безответственными.

Да, по образному выражению одного из наших крупных военных, "война отбирала кадры". Не на месте оказались некоторые видные военачальники, жившие заслугами прошлого и отставшие от времени. Не на месте оказались и некоторые слишком поспешно выдвинутые перед войной молодые командиры.

Но война отбирала и отобрала кадры. И людям, во главе дивизий, армий и фронтов отступавшим до Москвы, до Ленинграда, до Сталинграда, но не отдавшим ни того, ни другого, ни третьего, а потом перешедшим в наступление, научившимся воевать и в конце концов разгромившим сильнейшую армию мира — германскую армию — и дошедшим до Берлина, — им, этим людям, не надо противопоставлять ни Тухачевского, ни Якира при всем глубоком уважении к их именам.

Когда мы говорим о просчетах Гитлера и германского генерального штаба, следует помнить, что один из их главных просчетов был просчет в оценке кадров. В 1937-1938 годах эти кадры действительно понесли страшный урон. Но Гитлер и германский генеральный штаб считали этот Урон невосполнимым, а нашу армию в условиях большой войны небоеспособной.

Однако те кадры, которые сохранились в нашей армии, пережив тяжелейшие моральные испытания 1937-1938 годов и еще не оправившись от них в начале войны, показали и свое искусство, и свою способность к росту и совершенствованию. Показали, что они люди той же советской военной школы, из

которой вышли такие люди, как Тухачевский, Уборевич, Якир, и в конце концов сделали то, чего не ожидали от них ни наши враги, ни наши союзники, — вышли из этой страшной войны победителями.

Нам неизвестно и останется неизвестным, как воевали бы в 1941 году Блюхер или Белов, Дыбенко или Федько. Об этом можно говорить только предположительно. Но зато нам твердо известно другое: не будь 1937 года, не было бы и лета 1941 года, в этом корень вопроса. Не будь 1937 года, мы к лету 1941 года были бы несомненно сильнее во всех отношениях, в том числе и в чисто военном, и прежде всего потому, что в рядах командного состава нашей армии пошли бы на бой с фашизмом тысячи и тысячи преданных коммунизму и опытных в военном деле людей, которых изъяс из армии 1937 год. И они, эти люди, составили бы к началу войны больше половины старшего и высшего командного состава армии.

Нет никакой исторической необходимости персонифицировать эту огромную проблему, гадая, кто, на чьем месте, где и как бы воевал. Главное в другом, в том, что с фашизмом воевали бы все, и война, отбирая кадры, — а война все равно бы их отбирала, — выясняя истинную цену военачальников, отбирала бы эти кадры, во-первых, в несравненно более благоприятной атмосфере и, во-вторых, из куда более обширного круга людей.

Несколько слов о непосредственно предвоенной атмосфере. Людям, пишущим о войне, важна исходная точка. Сложность и противоречивость тогдашней обстановки у нас порой все еще примитивизируется и выглядит примерно так: после событий 1937-1938 годов и финской войны, открывшей глаза на наши слабости, армия стала перестраиваться; для ее успешной перестройки была создана нормальная атмосфера. Все уже шло к лучшему, и если бы вдобавок Сталин поверил Рихарду Зорге, принял необходимые меры, все было бы в порядке.

Казалось бы, на первый взгляд все правильно. Но это не так; подлинная историческая правда сложнее и противоречивее.

Да, каждый, кто в то время имел отношение к армии, хорошо помнит, с какой энергией после финской войны новое руководство Наркомата обороны стремилось навести порядок в армии, и прежде всего перестроить ее боевую подготовку.

Да, из финской войны делались выводы, в том числе форсировалось опасно затянувшееся перевооружение. Но сказать, что при этом в стране и в армии уже создались благоприятные для отпора врагу условия, было бы неверно.

Иногда изображают дело так, словно осенью 1938 года, осудив так называемые "перегибы" и наказав за них Ежова, Сталин поставил крест на прошлом; людей уже больше не объявляли врагами народа, а лишь освобождали и возвращали на прежние посты, в том числе и военные. С одной стороны, это верно. В армию вернулась часть командиров, арестованных в 1937-1938 годах, и некоторые из них в войну командовали дивизиями, армиями и даже фронтами.

Но с другой стороны, и в 1940 и в 1941 году все еще продолжались пароксизмы подозрений и обвинений. Незадолго до войны, когда было опубликовано памятное сообщение ТАСС с его полуупреком-полуугрозой в адрес тех, кто поддается слухам о якобы враждебных намерениях Германии, были арестованы и погибли командующий ВВС Красной Армии Рычагов, главный инспектор ВВС Смушкевич и командующий противовоздушной обороной страны Штерн.

Для полноты картины надо добавить, что к началу войны оказались арестованными еще и бывший начальник Генерального штаба и нарком вооружения, впоследствии, к счастью, освобожденные.

Такова была в действительности предвоенная атмосфера на пороге войны с фашистской Германией. Сталин все еще оставался верным той маниакальной подозрительности по отношению к своим, которая в итоге обернулась потерей бдительности по отношению к врагу.

А теперь, представив себе эту — не мнимую, а подлинную — атмосферу того времени, задумаемся, в каком положении находились те военные люди, которые, анализируя многочисленные данные, считали, что война может вот-вот разразиться вопреки безапелляционному мнению Сталина, которое он ставил выше реальности.

Когда мы спустя много лет судим об их действиях в то время, надо помнить, что речь идет не о мере мужества, которое необходимо человеку, чтобы демонстративно подать в отставку, после того как единственно правильные, по его мнению, меры наотрез отвергнуты. К сожалению, дело обстояло не так просто, и прямое противопоставление своего взгляда на будущую войну взглядам Сталина означало не отставку, а гибель с посмертным клеймом врага народа. Вот что это значило.

И все-таки — мы знаем это по многим перекрещивающимся между собой мемуарам — находились люди, старавшиеся хоть в какой-то мере довести до сознания Сталина истинное положение вещей и, ежечасно рискуя головой, принять хотя бы частичные меры для того, чтобы не оказаться перед фактом полной внезапности войны.

Сталин несет ответственность не просто за тот факт, что он с непостижимым упорством не желал считаться с важнейшими донесениями разведчиков. Главная его вина перед страной в том, что он создал гибельную атмосферу, когда десятки вполне компетентных людей, располагавших неопровержимыми документальными данными, не располагали возможностью доказать главе государства масштаб опасности и не располагали правами для того, чтобы принять достаточные меры к ее предотвращению.

Последним трагическим аккордом того отношения к кадрам, которое сложилось у Сталина до войны, были обвинения в измене и предательстве, выдвинутые им летом против командования Западного фронта — Павлова, Климовских и ряда других генералов, среди которых, как потом выяснилось, были и люди, погибшие в первых боях, и люди, до конца непримиримо державшие себя в плену.

Труднее сказать, что двигало Сталиным, когда он объявлял этих людей изменниками и предателями: расчет отвести от себя и обрушить на их головы гнев и недоумение народа, не ожидавшего такого начала войны? Или действительные подозрения? Думается, и то и другое — и расчет и подозрение, ибо ему уже давно было свойственно искать объяснения тех или иных неудач не в ошибках своих и чужих, а в измене, вредительстве и тому подобном.

От этой привычки потом, в ходе войны, ему пришлось, хотя и с рецидивами, но избавляться.

В ходе войны, среди ее испытаний проходили жестокую проверку многие довоенные представления, лозунги, концепции. Война одно подтверждала, другое отвергала, третье, в свое время отвергнутое, восстанавливала в его прежнем значении. Нам, литераторам, занимающимся историей войны, важно проследить за тем, как изменялась психология людей, их отношение друг к другу, как изменялся стиль руководства военными действиями, как новое, рожденное войной или

восстановленное в ходе войны, боролось со всем тем отжившим и скомпрометировавшим себя, что уходило корнями в атмосферу 1937-1938 годов.

Хочу привести пример операции, в которой наглядно столкнулись истинные интересы ведения войны и ложные, лозунговые представления о том, как должно вести войну, опиравшиеся не только на военную безграмотность, но и на порожденное 1937 годом неверие в людей. Я говорю о печальной памяти Керченских событиях зимы — весны 1942 года.

Семь лет назад один из наших писателей-фронтовиков писал мне следующее:

"Я был на Керченском полуострове в 1942 году. Мне ясна причина позорнейшего поражения. Полное недоверие командующим армиями и фронтом, самодурство и дикий произвол Мехлиса, человека неграмотного в военном деле... Запретил рыть окопы, чтобы не подрывать наступательного духа солдат. Выдвинул тяжелую артиллерию и штабы армии на самую передовую и т.д. Три армии стояли на фронте 16 километров, дивизия занимала по фронту 600–700 метров, нигде никогда я потом не видел такой насыщенности войсками. И все это смешалось в кровавую кашу, было сброшено в море, погибло только потому, что фронтом командовал не полководец, а безумец..."

Я был там же, где автор этого письма, и, хотя не разделяю его лексику, подписываюсь под существом сказанного.

Заговорил я об этом отнюдь не затем, чтобы лишний раз недобрым словом помянуть Мехлиса, который, кстати, был человеком безукоризненного личного мужества и все, что делал, делал не из намерения лично прославиться. Он был глубоко убежден, что действует правильно, и именно поэтому с исторической точки зрения действия его на Керченском полуострове принципиально интересны. Это был человек, который в тот период войны, не входя ни в какие обстоятельства, считал каждого, кто предпочел удобную позицию в ста метрах от врага неудобной в пятидесяти, — трусом. Считал каждого, кто хотел элементарно обезопасить войска от возможной неудачи, — паникером; считал каждого, кто реально оценивал силы врага, — неуверенным в собственных силах. Мехлис, при всей своей личной готовности отдать жизнь за Родину, был ярко выраженным продуктом атмосферы 1937-1938 годов.

А командующий фронтом, к которому он приехал в качестве представителя Ставки, образованный и опытный военный, в свою очередь тоже оказался продуктом атмосферы 1937-1938 годов, только в другом смысле — в смысле боязни взять на себя полноту ответственности, боязни противопоставить разумное военное решение безграмотному натиску "все и вся — вперед", боязни с риском для себя перенести свой спор с Мехлисом в Ставку.

Тяжелые керченские события с исторической точки зрения интересны тем, что в них как бы свинчены вместе обе половинки последствий 1937—1938 годов, — и та, что была представлена Мехлисом, и та, что была представлена тогдашним командующим Крымским фронтом Козловым.

Кстати сказать, мысленно восстанавливая всю эту драматическую керченскую ситуацию, можно не кривя душой назвать имена целого ряда других, уже выдвигавшихся к тому времени в ходе войны людей, которые, оказавшись в положении командующего фронтом, несмотря ни на близость Мехлиса к Сталину, ни на его положение представителя Ставки, думается, уже тогда не дали бы ему подмять себя, спорили бы до конца, дошли до Сталина и, возможно, убедили бы его в своей правоте.

И этих других людей нельзя выпускать из виду, исторически осмысливая те перемены к лучшему, которые постепенно совершались в армии в ходе войны с ее первыми поражениями, с ее сложным и длительным переломным периодом, с ее все нараставшими и нараставшими по своим масштабам победами.

Общий ход войны у всех нас на памяти. Нет человека, который бы не знал, куда мы отступили в сорок втором — до Волги, и куда мы пришли в сорок пятом — в Берлин; и какие столицы Европы мы освободили от фашистов — Варшаву, Софию, Белград, Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу — через три года после того, как фашисты входили в наш Минск, в наш Киев, в наш Калинин, в наш Севастополь.

И о каком бы дне войны мы ни писали — о ее первом или о ее последнем дне, и в каком бы пункте ни происходило действие наших книг — в осажденном Сталинграде или в окруженном Берлине, — мы всегда должны держать в своей памяти и в своих чувствах весь ход войны, все ее испытания, все ее поражения и победы.

Нельзя писать о падении Берлина, забыв о Минском шоссе сорок первого года, и нельзя писать об обороне Бреста, не держа в памяти штурм Берлина, хотя павшие в сорок первом так и не узнали об этом.

Мы прошли через всю войну, и мы помним ее всю — от начала и до конца. И мы не собираемся ничего выбрасывать из истории, потому что любые изъятия искажают общую картину. Только изобразив всю меру наших несчастий в начале войны и весь объем наших потерь, можно показать всю длину нашего пути до Берлина и всю меру усилий, которых потребовал от партии, от народа, от армии этот бесконечно длинный и бесконечно трудный день.

И меня всегда удивляет, когда люди, сами прошедшие сквозь огонь войны, мало того, создавшие о ней сильные произведения, вдруг прибегают к исторически несостоятельным, уклончивым оценкам неопровержимых фактов.

В последний раз с этим явлением я столкнулся совсем недавно, читая статью скульптора Е. Вучетича "Внесём ясность". Не буду вдаваться в остальные аспекты этой полемической статьи, скажу лишь об одном ее абзаце, который прямо касается затронутой мною темы. Сначала процитирую:

"Но есть правда и есть только видимость правды, есть правда факта и правда явления. И надо обладать острым, пронизательным взглядом художника, чтобы отделить одну от другой. Конечно, правда, что в начальный период войны были случаи нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники, на что сейчас особенно усиленно напирают некоторые недалекие литераторы в своих произведениях. Это правда, но только правда события, факта, а не правда жизни и борьбы народа в один из самых критических периодов его многовековой истории. Истинная правда состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги, а и в том, что мы, сломав у крутых волжских берегов хребет фашистскому зверю, дошли затем до Берлина и водрузили над рейхстагом знамя нашей великой победы".

Останавливаюсь на этом абзаце потому, что в нем изложена целая программа антиисторического подхода к истории войны.

Противопоставляя правду — видимости правды, а правду факта — правде явления, что хочет сказать этим Е. Вучетич? Если брать его формулировки, то случаи "нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники" в начале войны, чем они были — правдой или только видимостью правды? Были они фактами или

явлениями? Думаю, что все это, вместе взятое, было явлением трагическим и опасным, складывавшимся из множества фактов. Это была не "видимость" правды, а самая настоящая, хотя и горькая правда. И только до конца поглядев этой правде в глаза, — что, кстати сказать, надо отдать ему должное, хотя и с опозданием, но сделал Сталин, — можно было с великими трудами повернуть общий ход войны. Это — во-первых.

А во-вторых, если говорить о видимости правды, то видимостью правды как раз является та оценка, которую дает Е. Вучетич начальному периоду войны, во время которого, по его словам, "были случаи" — подчеркиваю это слово — случаи! — "...нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники".

"Истинная правда, — пишет Е. Вучетич, — состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги". Разумеется! Истинная правда, если брать войну в целом, состоит не только в том, что мы отошли до берегов Волги, но и в том, что мы дошли затем до Берлина. Не только у нас, но, наверное, даже в ФРГ нет человека, который бы взялся оспаривать это.

Но если говорить об августе 1942 года, то истинная правда заключалась как раз в том, что мы "отошли до берегов Волги", — то есть на самое далекое расстояние, которое когда-нибудь отделяло нашу армию от Берлина. И нас не могли привести на берега Волги просто-напросто "случаи нераспорядительности, растерянности, а порой даже паники". Объяснять дело так — значит пытаться создавать видимость правды, потому что привели нас на берег Волги не те или иные имевшие место на войне неприятные случаи, а куда более грозные исторические причины, в первую очередь связанные с тем, что мы теперь называем культом личности. И Сталин в тот критический момент, или, выражаясь его собственными словами, в "один из моментов отчаянного положения", был куда ближе к "истинной правде" событий, подписывая свой знаменитый приказ №227, чем Е. Вучетич теперь, через двадцать лет после войны, объясняющий наше отступление до Волги "случаями растерянности, нераспорядительности, а порой даже паники".

Хотелось бы искренне посоветовать Е. Вучетичу не проявлять в будущем такой растерянности, а порой даже паники перед истинной правдой истории и не пытаться подменять ее видимостью правды в искусстве. Это никому не нужно. Народ, победивший в такой войне, как Великая Отечественная, партия, приведшая его к

победе, армия, разгромившая наголову сильнейшую в мире гитлеровскую армию, могут позволить себе не бояться говорить полную правду обо всех этапах этой победоносно окончившейся войны, в том числе и о самых тяжелых ее этапах!

Часть этой сложной правды о войне, без готовности встретиться с которой литератору незачем и приниматься за историю войны, связана с ролью Сталина в руководстве войной, Наш долг — объективно, с помощью документов и живых свидетельств, изучить и проанализировать эту роль со всеми ее положительными и отрицательными сторонами, не преувеличивая и не преуменьшая ни масштабов хорошего, ни масштабов дурного, ни очень крупных масштабов самой этой личности.

Думается, вряд ли верно опускать в современных публикациях фамилию Сталина под теми или иными документами, подписанными им как Верховным Главнокомандующим. Или в ряде случаев — я говорю о тех случаях, когда речь идет персонально о нем, — заменять его имя словом "Ставка": "Ставка" решила, из "Ставки" позвонили.

Очевидно, когда так делают, то субъективно считают это элементами борьбы с культом личности. Но на самом деле это не так. Такие всем очевидные умолчания и замены не помогают, а мешают подлинной борьбе с культом личности и его последствиями, мельчат ее, вносят в эту абсолютно исторически справедливую борьбу элементы мелких исторических несправедливостей, изъятий, подтасовок, которые все, вместе взятые, вызывают у читателей чувство протеста, а порой даже мешают правильно оценить и всю глубину ошибок, и всю тяжесть прямых преступлений, совершенных этой крупной исторической личностью.

Мы приближаемся к великой для нашего народа дате — двадцатилетней годовщине Победы над фашизмом. С одной стороны, именно сейчас больше всего хочется вспомнить о самом радостном — о победах. Это чувство понятно и естественно.

Но мы встречаем этот день в далеко не безоблачной международной обстановке, и, вспоминая о победах, нам нельзя не вспоминать и о том связанном жестокими уроками истории, долгом и трудном пути, которым мы пришли к Берлину.

Это необходимо в интересах наиболее правдивого изображения того ни с чем не сравнимого по трудности подвига нашей партии и народа, о котором мы писали и будем писать, отдавая этому всю кровь своего сердца.

28 апреля 1965 года.